

Философское творчество Ф. М. Достоевского

Федор Михайлович Достоевский (1821- 1881) принадлежит столько же литературе, сколько и философии. Ни в чем это не выражается с большей яркостью, как в том, что он доныне вдохновляет философскую мысль. Комментаторы Достоевского продолжают реконструировать его идеи, — и самое разнообразие этих комментариев зависит не от какой-либо неясности у Достоевского в выражении его идеи, а, наоборот, от сложности и глубины их. Конечно, Достоевский не является философом в обычном и банальном смысле слова, — у него нет ни одного чисто-философского сочинения. Он мыслит как художник, — диалектика идей воплощается у него в столкновениях и встречах различных "героев". Высказывания этих героев, часто имеющие самостоятельную идейную ценность, не могут быть отрываемы от их личности, — так, Раскольников, независимо от его идеи, сам по себе, как личность, останавливает на себе внимание: его нельзя отделить от его идеи, а идеи нельзя отделить от того, что он переживает... Во всяком случае, Достоевский принадлежит русской — и даже больше — мировой философии.

Творчество Достоевского сосредоточено вокруг вопросов философии духа, — это темы антропологии, философии истории, этики, философии религии. В этой области обилие и глубина идей у Достоевского поразительны, — он принадлежит к тем творческим умам, которые страдают от изобилия, а не от недостатка идей. Не получив систематического философского образования, Достоевский очень много читал, впитывая в себя чужие идеи и откликаясь на них в своих размышлениях. Поскольку он пробовал выйти за пределы чисто-художественного творчества (а в нем, несомненно, был огромный дар и темперамент публициста), он, все равно, оставался мыслителем и художником одновременно всюду. Его "Дневник Писателя", оригинальный по своему стилю, постоянно заполнен чисто-художественными этюдами. Остановимся на его биографии. Федор Михайлович Достоевский родился в семье военного врача, жившего в Москве". Детство его протекало в благоприятной обстановке; приведем собственные слова Достоевского: "я происходил из семейства русского и благочестивого... Мы в семействе нашем знали Евангелие, чуть ли не с первого года; мне было всего лишь десять лет, когда я знал почти все главные эпизоды русской истории. По окончании "подготовительного" училища, Достоевский, вместе со старшим братом, поступил в Военно-Инженерное Училище (в Петербурге). В эти годы в его семье произошла тяжелая драма — его отец был убит крестьянами его деревни (мстившими ему за свирепость). "Семейное предание гласит, - пишет по этому поводу дочь

Достоевского, — что с Достоевским при первом известии о смерти отца сделался первый припадок эпилепсии”. (В годы пребывания в Инженерном Училище Достоевский свел дружбу с неким И. Н. Шидловским”), “романтиком, обратившимся (позже) на путь религиозных исканий” (по характеристике его биографа), имевшим несомненное влияние на Достоевского. “Читая с ним (то есть с Шидловским) Шиллера, — писал Достоевский брату, — я поверял на нем и благородного, пламенного Дон-Карлоса, и маркиза Позу... имя Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний...”. В эти годы Достоевский жадно впитывает в себя влияния романтической поэзии (между прочим, Victor Hugo).

В 1843-ем году Достоевский окончил офицерские классы Инженерного Училища, получил место в инженерном ведомстве, но недолго оставался на службе и скоро вышел в отставку. Жил он все время очень бедно и даже когда получал из дому довольно значительные суммы, очень быстро эти деньги у него расходились. В 1845-ом году он печатает свое первое произведение “Бедные люди”, сразу выдвинувшее его в первоклассные писатели). С этого времени Достоевский с упоением отдается литературной деятельности, — впрочем, следующие за “Бедными людьми” произведения вызвали у его почитателей разочарование и недоумение.

В это же время в жизни Достоевского назревает крупное событие – его сближение с кружком Петрашевского, приведшее позже к ссылке на каторжные работы в Сибирь. В жизни Достоевского это было настоящим переломом, - во втором периоде творчества (открывшемся “Записками из Мертвого Дома” , 1855) мы встречаем уже иной строй мысли, новое, трагическое восприятие жизни.

Надо иметь в виду, что еще после появления в печати “Бедных людей”, у Достоевского его прежний романтизм сильно накренился в сторону социализма; особенно сильно было в это время влияние Жорж Санд и французского утопического социализма. Этот ранний социализм Достоевского надо считать очень важным, а отчасти даже решающим, фактором в духовных исканиях его: социализм этот был не чем иным, как тем самым “этическим имманентизмом”, который лежал и лежит в основе всякой теории прогресса, в том числе и той философии жизни, которую мы видели у Толстого. Это есть вера в основное и “естественное” добро человеческой природы, в “естественную” возможность подлинного и всецелого “счастья”, устраиваемого “естественными” же путями. Это есть прямое и решительное отвержение учения о “радикальном зле” человеческой природы, говоря терминами Канта, — отвержение доктрины первородного греха и доктрины искупления и спасения, во Христе принесенного людям. В

отношении к духовным исканиям Достоевского, весь этот строй мысли следовало бы называть "христианским натурализмом". возлагающим все надежды на то христианское озарение человека, которое вошло в мир через Боговоплощение и нашло свое высшее выражение в Преображении Спасителя. Это есть христианство без Голгофы, христианство лишь Вифлеема и Фавора. Конечно, это есть своеобразное, христиански отраженное сочетание руссоизма и шиллеризма, — это есть вера в "естество" и признание природного, хотя бы и скрытого под внешними наслоениями благородства, скрытой "святыни" человеческой души или, как выражается Достоевский в статье, посвященной Жорж Санд, признание "совершенства души человеческой".

Идеалистически окрашенный социализм и связал Достоевского с "петрашевцами". "Я уже в 1846-ом году был посвящен (Белинским), - писал Достоевский в Дневнике, — во всю "правду" грядущего "обновленного мира" и во всю "святость будущего коммунистического общества". "Я страстно принял тогда все это учение", — вспоминает Достоевский в другом месте ту же эпоху. Как увидим дальше, Достоевский всю жизнь не отходил от этого "христианского натурализма" и веры в скрытое, не явленное, но подлинное "совершенство" человеческой природы, — это один из двух центров его духовного мира. Во всяком случае, участие в кружке "петрашевцев" закончилось для Достоевского печально, — он был арестован, присужден к ссылке на каторгу на четыре года. Однако, первоначально было сообщено Достоевскому (как и другим), что они присуждены к смертной казни. Осужденных привезли на площадь, сделали все приготовления к казни (расстрелу), но когда все было готово, тогда было объявлено, что все помилованы, что смертная казнь заменена каторгой... Близость к смерти не могла не потрясти Достоевского, — но это потрясение было только вступлением ко всему тому страшному, что пришлось еще пережить на каторге. Здесь то и совершился глубокий внутренний и идейный перелом в Достоевском, который определил все его дальнейшие духовные искания.

После освобождения от каторги Достоевский пробыл еще несколько лет в Сибири и здесь он женился, снова вернулся к литературной работе (здесь были написаны "Записки из Мертвого дома", ряд рассказов). Через несколько лет ему было, наконец, разрешено вернуться в Европейскую Россию (в 1859-ом году) - сначала в г. Тверь, а через несколько месяцев - в Петербург. В 1861-ом году он вместе со старшим братом стал издавать журнал "Время", программа которого заключалась в развитии новой идеологии "почвенничества" и в упразднении распри западников и славянофилов. В объявлении о подписке на журнал было сказано: "Мы убедились, наконец, что мы

тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей”. “Мы предугадываем, что... русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, какие развивает Европа” . Главными сотрудниками журнала “Время” были братья Достоевские, Ап. Григорьев, Н. Н. Страхов. В 1863-ем году за статью Страхова, посвященную польскому вопросу и написанную в либеральном духе, журнал был закрыт, — но через год брату Достоевского было разрешено издание журнала под новым названием. Действительно, в 1864-ом году Достоевские стали издавать журнал “Эпоха”, но денежные затруднения, созданные раньше закрытием журнала “Время”, были столь сильны, что пришлось прекратить издание “Эпохи”. Значение этого периода в развитии творчества Достоевского заключалось в том, что в нем проявился вкус к публицистической форме творчества. Достоевский создал свой особенный стиль публицистики (его унаследовал больше других Розанов), — и, например, “Дневник писателя” (который он издавал в последние годы жизни) остается до сих пор драгоценным материалом для изучения идей Достоевского. Несмотря на близость к текущей жизни, “Дневник писателя” сохраняет свою значительность и сейчас по богатству идей и по глубине анализов. Мысль Достоевского часто достигает здесь предельной четкости и выразительности.

Но, конечно, главной формой творчества в этот (т.е. после каторги) период было литературное творчество. Начиная с первоклассного произведения “Преступление и наказание”, Достоевский пишет романы один за другим - “Идиот”, “Подросток”, “Бесы” и, наконец, “Братья Карамазовы”. Сейчас уже известны чрезвычайно широкие и философские значительные первые замыслы указанных произведений, — и тщательный анализ разных редакций их показывает, как много вкладывал Достоевский в свое художественное творчество. Много раз уже указывалось, что под “эмпирической” тканью во всех этих произведениях есть еще иной план, который, вслед за Вяч. Ивановым, часто называют “метафизическим”. Действительно, в главных “героях” Достоевского перед нами не только живая, конкретная личность, но в ее судьбе, во внутреннем логосе и диалектике ее развития Достоевским прослеживается диалектика той или иной идеи. Философское, идейное творчество Достоевского искало своего выражения в художественном творчестве, — и мощь художественного дарования его в том и сказалась, что он в эмпирическом рисунке следует чисто-художественному чутью и не подгоняет художественного творчества под свои идеи (как это мы постоянно, например, находим у Толстого).

Примечательнейшим фактом в жизни Достоевского было его

выступление на так называемом "Пушкинском празднике" (май 1880-го года), когда освящали памятник Пушкину в Москве. Все русские писатели (кроме Л. Толстого) приехали на этот праздник, который был действительно праздником литературы, как таковой. Все речи до Достоевского были интересными и восхищали слушателей, но когда Достоевский произнес свою речь, впечатление было столь велико, что в общем подъеме и возбуждении казались исчезнувшими все прежние идейные разногласия. Они как бы потонули, растворились, чтобы слиться в новом энтузиазме "всечеловеческой" идеи, которую с таким необыкновенным подъемом провозгласил Достоевский. Позднее в различных журналах началась острая критика этой речи, но она, если и не начала никакой новой эпохи в русской идейной жизни, то сама по себе является действительно замечательной. А в творчестве Достоевского она означает, в сущности, возврат к той позиции, которую Достоевский занимал в первое время после возвращения из Сибири. Увы, приближалась смерть, прервавшая творчество Достоевского в самом расцвете его таланта. В 1881-ом году его не стало... Смерть Достоевского поразила своей неожиданностью русское общество; искренняя и глубокая печаль охватила сердца всех. На похоронах Достоевского, принявших совершенно небывалый характер, приняли участие дети, студенчество, различные литературные, научные, общественные круги...

В основе всей идейной жизни, всех исканий и построений Достоевского были его религиозные искания. Достоевский всю жизнь оставался религиозной натурой, всю жизнь "мучился", по его выражению, мыслью о Боге. Поэтому в лице Достоевского больше, чем в лице кого-либо другого, мы имеем дело с философским творчеством, выраставшим в лоне религиозного сознания. Но вся исключительная значительность идейного творчества Достоевского заключалась как раз в том, что он с огромной силой и непревзойденной глубиной вскрывает религиозную проблематику в темах антропологии, этики, эстетики, историософии. Именно в осознании этих проблем с точки зрения религии и состояло то, о чем он говорил, что его "мучил Бог". В "записной книжке" Достоевского читаем: "и в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла".

Но эти сомнения рождались из глубин самого религиозного сознания; все они связаны с одной и той же темой - о взаимоотношении и связи Бога и мира. У Достоевского никогда не было сомнений в бытии Бога, но перед ним всегда вставал (и в разные периоды по-разному решался) вопрос о том, что следует из бытия Божия для мира, для человека и его исторического действия. Возможно ли религиозное

(во Христе) восприятие и участие в ней культуры? Человек, каков он в действительности есть, его деятельность и искания могут ли быть религиозно оправданы и осмыслены? Зло в человеке, зло в истории, мировые страдания могут ли быть религиозно оправданы и приняты? Если угодно, можно все это рассматривать, как различные выражения проблемы теодицеи. Не только "Бог мучил" всю жизнь Достоевского, но он и всю жизнь боролся с Богом, — и этот интимный религиозный процесс и лежал в основе диалектики всего духовного процесса в нем. Но Достоевский не со стороны, а изнутри носил в себе и всю проблематику культуры, все ее мечты и идеалы, ее вдохновения и радости, ее правду и неправду. Внутренней разнородности христианства и культуры Достоевский никогда не утверждал, наоборот, в нем была всегда глубочайшая уверенность в возможности их подлинного сочетания. Поэтому мы не найдем у него нигде той вражды к культуре, какую, например, мы видели у Толстого. Но с тем большей силой Достоевский отталкивался от секуляризма—от разъединения Церкви и культуры, от радикального индивидуализма ("обособления", как любил он выражаться), от "атеистической" культуры современности. Секуляризм и был для Достоевского скрытым, а чаще — явным атеизмом.

Когда Достоевский увлекся социализмом, то он "страстно" принял его, но и тогда он не отделял этой "страстной" веры в осуществление правды на земле от веры во Христа. Он потому и ушел вскоре от Белинского (за которым, по его собственному признанию, сначала "страстно" следовал), что Белинский "ругал" Христа. Без преувеличения можно сказать, что увлечение социализмом было связано у Достоевского с его религиозными исканиями. Правда, в дальнейшем мысль Достоевского все время движется в линиях антиномизма, его положительные построения имеют рядом с собой острые и решительные отрицания, но такова уже сила и высота мысли его. Редко кто из русских мыслителей так чувствовал диалектические зигзаги в движении идеи... Но и антиномизм Достоевского коренился в его религиозном же сознании и вне этого религиозного сознания невозможно даже надлежаще оценить антиномизм в его основаниях у Достоевского.

Во всяком случае, раннее увлечение социализмом вплотную подвело религиозное сознание Достоевского к основным проблемам культуры. И здесь же надо искать ключа и к тому, что я называл выше "христианским натурализмом" (см. выше об этом) Достоевского - к вере в добро в человеке, в его "естество". В довольно позднем отрывке (Дневник за 1877-ой год) Достоевский писал: "величайшая красота человека... величайшая чистота его... обращаются ни во что, проходят без пользы человечеству... единственно потому, что всем этим дарам не

хватило гения, чтобы управлять этим богатством". В этих словах очень ясно выражен один полюс в основной историософской антиномии у Достоевского — вера в "естество", его скрытую "святыню", но и признание, что для плодотворного действия этой "святыни" не хватает "умения" "управить" ее богатством. Мы еще вернемся к этой теме при систематическом анализе философских идей Достоевского, — сейчас нам нужно указать на то, что мысль его не удержалась на позиции христианского натурализма и с исключительной глубиной приблизилась к противоположному тезису о внутренней двусмысленности человеческого естества, даже двусмысленности красоты, к учению о трагизме "естественной" свободы, уводящей человека к преступлению, и т.д. Неверно утверждать, как это делает, например, Шестов, что у Достоевского после каторги произошло полное перерождение его прежних взглядов, что "от прошлых убеждений у Достоевского не осталось и следа". Наоборот, его мысль до конца дней движется в линиях антиномизма, — в частности христианский натурализм, с одной стороны, и неверие в "естество", с другой, продолжают все время жить в нем, так и не найдя завершающего, целостного синтеза. Почвенничество (как одно из проявлений христианского натурализма) и в то же время высокий идеал вселенского христианства, переступающего границы народности; страстная защита личности, этический персонализм в высшем и напряженнейшем его выражении, — и рядом разоблачения "человека из подполья"; вера в то, что "красота спасет мир", а рядом горькое раздумье о том, что "красота, это - страшная и ужасная вещь", — все эти антиномии не ослабевают, а, наоборот, все больше заостряются к концу жизни Достоевского. И все это было имманентной диалектикой религиозного сознания Достоевского. Вся философская значительность Достоевского, все его идейное влияние в истории русской мысли в том и заключались, что он с изумительной силой и глубиной раскрыл проблематику религиозного подхода к теме культуры. Историософская установка в этом смысле доминирует над всей мыслью Достоевского, — и его глубочайшие прозрения в вопросах антропологии, этики, эстетики всегда были внутренне координированы с его историософскими размышлениями.

Обратимся к систематическому анализу идей Достоевского.

Философское творчество Достоевского имеет не одну, а несколько исходных точек, но наиболее важной и даже определяющей для него была тема о человеке. Вместе со всей русской мыслью Достоевский - антропоцентричен, а его философское мировоззрение есть, прежде всего, персонализм, окрашенный, правда, чисто этически, но зато и

достигающий в этой окраске необычайной силы и глубины. Нет для Достоевского ничего дороже и значительнее человека, хотя, быть может, нет и ничего страшнее человека. Человек - загадочен, соткан из противоречий, но он является в то же время - в лице самого даже ничтожного человека — абсолютной ценностью. Поистине - не столько Бог мучил Достоевского, сколько мучил его человек, - в его реальности и в его глубине, в его роковых, преступных и в его светлых, добрых движениях. Обычно - и справедливо, конечно, - прославляют то, что Достоевский с непревзойденной силой раскрыл "темную" сторону в человеке, силы разрушения и беспредельного эгоизма, его страшный аморализм, таящийся в глубине души. Да, это верно.

Антропология Достоевского, прежде всего, посвящена "подполью" в человеке. Было бы, однако, очень односторонне не обращать внимания на то, с какой глубиной вскрывает Достоевский и светлые силы души, диалектику добра в ней. В этом отношении Достоевский, конечно, примыкает к исконной христианской (то есть святоотеческой) антропологии; Бердяев совершенно не прав, утверждая, что "антропология Достоевского отличается от антропологии святоотеческой". Не только грех, порочность, эгоизм, вообще "демоническая" стихия в человеке вскрыты у Достоевского с небывалой силой, но не менее глубоко вскрыты движения правды и добра в человеческой душе, "ангельское" начало в нем. В том-то и сила и значительность антропологического антиномизма у Достоевского, что оба члена антиномии даны у него в высшей своей форме.

Мы назвали персонализм Достоевского этическим, — и это значит, прежде всего, что ценность и неразложимость человеческого существа связаны не с его "цветением", не с его высшими творческими достижениями, - они присущи и маленькому ребеночку, еще беспомощному и бессильному, еще не могущему ничем себя проявить. Персонализм Достоевского относится к онтологии, а не к психологии человека, - к его существу, а не к эмпирической реальности. Но само восприятие человека у Достоевского внутренне пронизано этической категорией, - он не только описывает борьбу добра и зла в человеке, но он ищет ее в нем. Человек, конечно, включен в порядок природы, подчинен ее законам, но он может и должен быть независим от природы. Как раз в "Записках из подполья" с поразительной силой высказана эта независимость духа человеческого от природы, - и там же провозглашается, что подлинная суть человека - в его свободе и только в ней. "Все-то дело человеческое, кажется, действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он - человек, а не штифтик", - читаем в тех же "Записках из подполья". Это самоутверждение есть утверждение своей независимости от природы, - все достоинство человека в этом как раз и состоит.

Но именно потому подлинное в человеке и состоит лишь в его этической жизни - здесь, и только здесь, человек есть по существу новое, высшее, несравнимое бытие. В этом смысле уже в "Записках из подполья" мы находим такой апофеоз человека, который превращает его если не в центр мира, то в важнейшее и драгоценнейшее явление. Достоевскому совершенно чужд и противен тот "антропологизм", который мы видели раньше у русских позитивистов и полупозитивистов (Чернышевский, Лавров, Кавелин, даже Михайловский), — он ближе всех к Герцену с его патетическим утверждением независимости человеческого духа от природы. Натурализм в антропологии высмеян беспощадно Достоевским в "Записках из подполья", — и поэтому все его дальнейшее учение о человеке так глубоко отлично от тех (более поздних) учений, которые, сходясь с Достоевским в учении об аморализме в человеке, трактуют это в духе примитивного натурализма. Для Достоевского аморализм, скрытый в глубине человека, есть тоже апофеоз человека, — этот аморализм — явление духовного порядка, а не связан с биологическими процессами в человеке.

Но чем категоричнее это онтологическое превознесение человека, тем беспощаднее вскрывает Достоевский роковую неустроенность духа человеческого, его темные движения. Основная тайна человека в том и состоит, по Достоевскому, что он есть существо этическое, что он неизменно и непобедимо стоит всегда перед дилеммой добра и зла, от которой он не может никуда уйти: кто не идет путем добра, тот необходимо становится на путь зла. Эта этическая сущность человека, основная его этическая направленность есть не предвзятая идея у Достоевского, а вывод из его наблюдений над людьми.

Но здесь начинаются парадоксы, в которых раскрывается уже не только эта основная этическая сущность человека, но и вся проблематика человека. Прежде всего, с исключительной едкостью Достоевский высмеивает тот поверхностный интеллектуализм в понимании человека, который достиг наиболее плоского своего выражения в построениях утилитаризма. "Записки из подполья", в бессмертных страницах, говорят о том, что "человек есть существо легкомысленное", действующее менее всего для собственной выгоды: "когда, во все тысячелетия бывало, чтобы человек действовал из одной своей выгоды?" Представление о человеке, как существе рассудочном, а потому и благоразумном, есть чистая фикция, — "так как натура человеческая действует вся целиком, — всем, что в ней есть - сознательно и бессознательно". "Хотенье может, конечно, сходиться с рассудком, но очень часто и даже большей частью совершенно и упрямо разногласит с рассудком". "Я хочу жить, - продолжает свои замечания человек из подполья, - для того, чтобы удовлетворить всей

моей способности жить, — а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности. Рассудок удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотение есть проявление всей человеческой жизни”. Самое дорогое для человека — “свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы и дикий, каприз”; самое дорогое и важное для человека — “по своей глупой воле пожить”, и потому “человек всегда и везде, где бы он ни был, любит действовать так, как он хочет, а вовсе не так, как повелевает ему разум и совесть”.

Психологический волюнтаризм переходит у Достоевского незаметно в иррационализм, в признание, что ключ к пониманию человека лежит глубже его сознания, его совести и разума, — в том “подполье”, где он “сам”. Этический персонализм Достоевского облекается в живую плоть действительности: “ядро” человека, его подлинная суть даны в его свободе, в его жажде и возможности его индивидуального самоутверждения (“по своей глупой воле пожить”). Онтология человека определяется этой жаждой свободы, жаждой быть “самим собой”, — но именно потому, что Достоевский видит в свободе сокровенную суть человека, никто глубже его не заглядывал в тайну свободы, никто ярче его не вскрывал всю ее проблематику, ее “неустроенность”. Бердяев справедливо подметил, что для Достоевского “в свободе подпольного человека заложено семя смерти”. Если свобода дороже всего человеку, если в ней последняя его “суть”, то она же оказывается бременем, снести которое слишком трудно. А, с другой стороны, в нашем подполье, — а “подпольный” человек и есть как раз “естественный” человек, освободившийся от всякой традиции и условности, — в подполье нашем, по выражению Достоевского, ощущается смрад, обнажается внутренний хаос, злые, даже преступные, во всяком случае, постыдные, ничтожные движения.

Вот, например, Раскольников: разложив в работе разума все предписания традиционной морали, он стал вплотную перед соблазном, что “все позволено”, и пошел на преступление. Мораль оказалась лишенной основания в глубине души, свобода оборачивается аморализмом, напомним, что и на каторге Раскольников долго не чувствовал никакого раскаяния. Поворот пришел позже, когда в нем расцвела любовь к Соне, а до этого в его свободе он не находил никакого вдохновения к моральному раздумью. Это вскрывает какую-то загадку в душе человека, вскрывает слепоту нашей свободы, поскольку она соединена только с голым разумом. Путь к добру не определяется одной свободой; он, конечно, иррационален, но только в том смысле, что не разум движет к добру, а воля, сила духа. Оттого-то в свободе *quand même*, оторванной от живых движений любви, и есть семя смерти. Почему именно смерти? Да потому, что человек не может

по существу отойти от Добра, - и если, отдаваясь свободной игре страстей, он отходит от добра, то у него начинается мучительная болезнь души. Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов по-разному, но все страдают от того, что заглушили в себе живое чувство Добра (то есть Бога), что остались сами с собой. Свобода, если она оставляет нас с самими собой, раскрывает лишь хаос в душе, обнажает темные и низшие движения, то есть превращает нас в рабов страстей, заставляет мучительно страдать... Это значит, что человек создан этическим существом и не может перестать быть им. С особенной силой и болью говорит Достоевский о том, что преступление совсем не означает природной аморальности, а, наоборот, свидетельствует (отрицательно) о том, что, отходя от добра, человек теряет нечто, без чего ему жить нельзя. Еще в "Записках из Мертвого дома" он писал: "сколько великих сил погибло здесь даром. Ведь надо уже все сказать: да, это был необыкновенный народ, может быть, самые даровитые, самые сильные из народа". Несомненно, что это были люди, наделенные не только большой силой, но и свободой - и свобода-то их и сорвала с путей "традиционной" морали и толкнула на преступление. Вот и семя смерти!

В "Дневнике писателя" за последние годы Достоевский писал: "зло таится в человеке глубже, чем предполагают обычно". Шестов напрасно видит в этом "реабилитацию подпольного человека", - наоборот, подчеркивая всю таинственность зла в человеческой душе, Достоевский показывает неустроенность человеческого духа или лучше — расстройство его, а вместе с тем и невозможность для человеческого духа отойти от этической установки. "Семя смерти", заложенное в свободе, означает, что расстройство духа имеет корень не на поверхности, а именно в последней глубине духа, ибо нет ничего глубже в человеке его свободы. Проблематика свободы в человеке есть вершина идей Достоевского в антропологии; свобода не есть последняя правда о человеке - эта правда определяется этическим началом в человеке, тем, к добру или злу идет человек в своей свободе. Оттого в свободе есть, может быть, "семя смерти" и саморазрушения, но она же может вознести человека на высоты преображения. Свобода открывает простор для демонизма в человеке, но она же может возвысить ангельское начало в нем. Есть диалектика зла в движениях свободы, но есть и диалектика добра в них. Не в том ли заключается смысл той потребности страдания, о которой любил говорить Достоевский, что через страдания (часто через грех) приходит в движение эта диалектика добра?

Эта сторона в антропологии Достоевского часто забывается или недостаточно оценивается, — между тем в ней лежит ключ к объяснению той системы идей, которую мы характеризовали выше, как

“христианский натурализм” у Достоевского. Приведенные мельком (в “Идиоте”) слова о том, что “красота спасет мир”, вскрывают эту своеобразную эстетическую утопию Достоевского. Все его сомнения в человеке, все обнажение хаоса и “семени смерти” в нем нейтрализуются у Достоевского убеждением, что в человеке таится великая сила, спасающая его и мир, - горе лишь в том, что человечество не умеет использовать эту силу. В “Дневнике Писателя” (1887 г.) Достоевский написал однажды: “величайшая красота человека, величайшая чистота его... обращаются ни во что, проходят без пользы человечеству единственно потому, что всем этим дарам не хватило гения, чтобы управлять этим богатством”. Значит, ключ к преображению, к устройению человека в нем есть, и мы только не умеем овладеть этим ключом.

Старец Зосима высказал такую мысль: “мы не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он предстанет перед нами во всей своей красоте”. В замечательных словах Версилова (“Подросток”) по поводу картины Лоррена выражена та же мысль о том, что свет и правда уже есть в мире, но остаются нами незамеченными. “Ощущение счастья, мне еще неизвестное, прошло сквозь сердце мое даже до боли”. В чудной форме это ощущение святости в человеке передано в гениальном “Сне смешного человека”. В материалах к “Бесам” находим такое место: “Христос затем и приходил, чтобы человечество узнало, что и его земная природа, дух человеческий может явиться в таком небесном блеске, на самом деле и во плоти, а не то что в одной мечте и в идеале, - что это и естественно и возможно”. Как ясно из этих слов, это основное учение Достоевского о человеке ближе к антропологии Руссо (с его основным принципом о радикальном добре в человеке), чем к антропологии Канта (с его учением о “радикальном зле в человеке”).

Однако, диалектика “естественного и возможного” добра предполагает в человеке религиозную жизнь. “Весь закон бытия человеческого лишь в том - говорит в “Бесах” Стефан Трофимович, - чтобы человек мог преклониться перед безмерно великим; Безмерное и Бесконечное так же необходимы человеку, как та малая планета, на которой он живет”. Несчастье человечества в том, что в нем “помутилась эстетическая идея”; оттого теперь красота стала “страшная и ужасная вещь”, она и “таинственная вещь - тут дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердце человеческое” (Бр. Карамазовы) Вот это “помутнение эстетической идеи”, в силу которого дьявол овладевает человеком, когда в нем пробуждается эстетический восторг, - и объясняет, почему утеряно людьми “умение” владеть святостью, открытой его сердцу.

Антропология Достоевского касается последних глубин

человеческого духа, вскрывает непобедимую силу этического начала в человеке, но и помутнение человеческого сердца, в силу чего прямой путь к добру закрыт. Свобода вобрала в себя "семя смерти", в глубине души, замутненной грехом, завелся смрад и грех, - но сила добра продолжает жить в человеке. Лишь через страдания и часто через преступление освобождается человек от соблазнов зла и вновь обращается к Богу. Оттого и говорит Алеша о старце Зосиме: "в его сердце тайна обновления для всех, - та мощь, которая, наконец, установит правду на земле..." Социалистическая мечта прежних лет, романтическая мечта о "восстановлении" добра в людях (термин, взятый у V.Гюго) держалась, таким образом, до конца жизни у Достоевского, и его антропология стоит посередине между чисто церковной и секулярной идеей о человеке. Для полного соответствия взглядов Достоевского учению Церкви ему не хватало поставления на верховное место того центрального учения христианства, которое видит в страданиях и смерти Спасителя необходимое предварение спасительного Его воскресения. Мы уже говорили о том, что в христианском миропонимании Достоевского подчеркнуто то откровение о мире и человеке, которое дано нам в Боговоплощении и Преображении, но нет того, что дано в Голгофе... Все же вера в человека торжествует у Достоевского над всеми его "открытиями" хаоса и смрадного подполья в человеке, - и в этом моменте антропология Достоевского пронизана лучами пасхальных переживаний, столь существенных для Православия и его основной тональности. Эстетический гуманизм, столь характерный для русских мыслителей, сохраняется и у Достоевского, только сама природа эстетических переживаний трактуется у Достоевского по-новому.

Часто считают, что в "Легенде о Великом Инквизиторе" особенно сурово и жестко рисует Достоевский ничтожество человека, которому не по плечу "бремя" христианской свободы. Но забывается, что слова о том, что Христос "судил о людях слишком высоко", что "человек создан слабее и ниже, чем Христос о нем думал", - что это все слова Великого Инквизитора - нарочито им сказаны, чтобы оправдать то превращение церковного народа в рабов, которое он затевает. Неверие в человека у него как раз и отвергается Достоевским, хотя "Легенда" и содержит в себе так много глубочайших мыслей о проблеме свободы. Основной истиной о человеке остается для Достоевского то, что человеку невозможно прожить без Бога - и кто теряет веру в Бога, тот становится (хотя бы не доходя до конца) на путь Кириллова ("Бесы"), то есть ступает на путь человекобожества. Кто отвергает Богочеловечество, как откровение о человеке, находящем свою полноту в Боге, тот неизбежно ударяется в человекобожество...

Мы подчеркивали уже несколько раз, что в антропологии

Достоевского, и самом восприятии человека у него на первый план выступает этическая категория. Действительно, размышления на этические темы, заполняющие его произведения, определяются этим изначальным этицизмом мысли Достоевского. Его этический максимализм, вся страстная напряженность этических исканий, придающая такую глубокую значительность его основным художественным образам, - все это вытекает из того, что в нем доминирует над всем проблематика добра и путей к нему. Он был глубоко самостоятелен в этических его исканиях - и именно в этой области особенно велико влияние Достоевского на русскую философскую мысль - кто только в последующих поколениях русских мыслителей не испытал на себе глубочайшего влияния Достоевского. Достоевский преисполнен этического пафоса и едва ли не главный корень его философских размышлений лежит в сфере этики.

Когда Достоевский (по возвращении из каторги) стал высказываться и в публицистических статьях, и художественных произведениях на темы этики, то он считался, прежде всего, с тем упрощенным, можно сказать, плоским пониманием моральной сферы в человеке, которое мы знаем по Чернышевскому, Кавелину и другим представителям утилитаризма или полупозитивизма. Сам Достоевский был отчасти (но лишь отчасти) близок к этим течениям в тот период жизни, когда он увлекался социализмом. Достаточно вспомнить патетические страницы, посвященные этому периоду в воспоминаниях о влиянии Жорж Санд (в Дневн. Писат. за 1876 г., Июль). Но элементы натурализма, шедшие через Фурье от Руссо (сохранились лишь в религиозных взглядах Достоевского (в том, что мы называем "христианским натурализмом" у него), в понимании же этической психологии это совершенно исчезло у него после каторги. В такой ранней вещи, как "Записки из подполья", мы встречаем исключительно острую, беспощадную критику утилитаризма и морального рационализма. В "Преступлении и наказании" этическая тема встает уже в такой глубине, которая была новой не для одной русской мысли. Мы уже видели при анализе антропологии Достоевского, что он вскрывает решительную неустранимость этической установки в человеке, вскрывает внутреннюю диалектику добра в человеческой душе.

Этический максимализм у Достоевского получает исключительно яркое и сильное выражение. Весь бунт Ивана Карамазова против Бога определяется именно этическим максимализмом, не принимающим мира потому, что его "будущая гармония" имеет в основе страдания. Особенно страдания детей - мотив, чрезвычайно волновавший Достоевского - неприемлемы для морального сознания. Не под влиянием ли этих страстных речей Ив. Карамазова задумал Влад.

Соловьев свое "Оправдание добра"? Во всяком случае, в Достоевском этический максимализм достигает наиболее глубокого и сильного своего выражения и входит уже дальше неустрашимым элементом в этические построения последующих мыслителей.

Столь же острое, непревзойденно глубокое выражение находит у Достоевского и тема свободы, как последней сущности человека. То понимание свободы, которое с такой силой отвергает Великий Инквизитор, есть поистине самое высокое проникновение в тайну свободы, открывшуюся во Христе: никто в этом не стоит выше Достоевского. Но и всю проблематику свободы никто не раскрывает с такой силой, как Достоевский — мы достаточно говорили об этом в предыдущем параграфе. Можно сказать, что никто - ни до, ни после Достоевского - не достигал такой глубины, как он, в анализе движений добра и зла, то есть в анализе моральной психологии человека. Вера в человека у Достоевского покоится не на сентиментальном воспевании человека, - она, наоборот, торжествует именно при погружении в самые темные движения человеческой души.

Надо признать большим преувеличением то, что писал Гессен об этических взглядах Достоевского. Но верно то, что Достоевский отвергал не только этику рассудочности, но и этику автономизма, что он сознательно защищал этику мистическую. Прежде всего, это означало для Достоевского, что моральные движения определяются не чувствами, не рассудком, не разумом, а прежде всего живым ощущением Бога, - и где выпадает это ощущение, там неизбежен или не знающий пределов цинизм, ведущий к распаду души, или человекобожество. С другой стороны, Достоевский (и здесь он примыкал к учению славянофилов) очень глубоко чувствовал неправду самозамыкающегося индивидуализма ("обособления", по его любимому выражению). Достоевскому принадлежит формула, что "все виноваты за всех", что все люди связаны таинственным единством, потенциально заключающим в себе возможность подлинного братства. Достоевский горячо принимал идеи Н. Ф. Федорова (см. о нем во II томе гл. V.) о духе "небратства" в современности - достаточно вспомнить его беспощадные слова в "Зимних заметках о летних впечатлениях". Вот эти слова: "Кто, кроме отвлеченного доктринера, мог бы принять комедию буржуазного единения, которую мы видим в Европе, за нормальную формулу человеческого единения на земле?" Да, идея подлинного братства была в основе раннего социализма у Достоевского, она продолжала жить всю его жизнь, — и она определяла собой ту религиозную утопию, которой окрашено было мировоззрение Достоевского (утопию превращения государства, то есть всего земного порядка в церковь).

Мистическая основа морали выражена с большой силой и

смелостью в предсмертных речах старца Зосимы ("Бр. Карамазовы"). "Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле... и взошло все... но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего к таинственным мирам иным". "Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным". Это все - формулы мистической этики у Достоевского: действительно, живое и подлинное отношение к жизни для нас измеряется лишь любовью, переступающей границы и рассудка, и разума. Любовь становится сверхразумной, подымаясь до ощущения внутренней связи со всем миром, даже мертвым, даже с вещами ("Братья, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну постигнешь в вещах"). Этот универсализм любви весь держится все же живым чувством Бога.

В ранние годы Достоевский много думал о "назначении христианства в искусстве". В этой обращенности его духа к вопросам эстетики нельзя не видеть влияния Шиллера с его культом эстетического начала в человеке и с его глубокой верой в единство добра и красоты. Думаю, что здесь сильно было и влияние Ап. Григорьева, бывшего сотрудником "Времени". Как раз тогда Достоевский писал такие, напр., строки: "мы верим, что у искусства - собственная, цельная и органическая жизнь... Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества неразлучна с человеком... человек жаждет красоты, принимает ее без всяких условий, а потому только, что она красота". "Красота присуща всему здоровому... она есть гармония, в ней залог успокоения". "Красота уже в вечности..." пишет Достоевский в той же статье (из "Времени" в 1864 г.).

И еще отметим одну мысль, которую позже развивал Достоевский в "Бесах": "если в народе сохраняется идеал красоты, значит, в нем есть потребность здоровья, нормы, а следовательно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа". "Без науки можно прожить человечеству - заявляет старик Верховенский ("Бесы"), без хлеба, - без одной только красоты невозможно. Вся тайна тут, вся история тут". Воплотимость идеала, возможность его осуществления в исторической реальности, по Достоевскому, "гарантируются" тем, что в мире есть красота. "Народы движутся - читаем так же в "Бесах" — силой, происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Это... есть начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как они же отождествляют; — искание Бога, как называю я его проще". Эстетические переживания оказываются по существу мистическими, поскольку они движут нашу душу к Богу. В новых материалах, ныне публикуемых, находим такую мысль: "Дух Святой есть

непосредственное понимание красоты, пророческое сознание гармонии и, стало быть, неуклонное стремление к ней”.

Эта религиозная интерпретация эстетических переживаний побеждает все соблазны мира, ослабляет всю его неправду, придает всему содержанию культуры высший, религиозный смысл. Это не есть только приятие культуры, это уже ее религиозное освящение, в котором начинается и ее преображение. До Достоевского в России так мыслил только архим. Бухарев, но после Достоевского тема религиозного осмысления культуры, выросшей из “слепого” процесса истории, тема ее освящения станет одной из важнейших тем историософских построений. И уже у Достоевского мы находим типичную для этих исканий черту, — признание, что ключ к преображению культуры дан в ней самой, заключается в ее глубине и лишь закрыт от нас грехом. Это есть тот “христианский натурализм”, соблазн которого был так силен у Достоевского.

Но у него же очень рано пробиваются и сомнения в том, что “красота спасет мир”. Он сам говорит, что “эстетическая идея помутилась в человечестве”. Уже Верховенский младший говорит: “я нигилист, но люблю красоту” и этим подчеркивает двусмысленность красоты. А в “Бр. Карамазовых” в известных словах Дмитрия Карамазова эти сомнения в творческой силе красоты выражены уже с чрезвычайной силой. “Красота, — говорит он, — это страшная и ужасная вещь... тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Страшно то, что то, что уму (то есть моральному сознанию. В. З.) представляется позором, то сердцу — сплошь красотой”. Эта моральная двусмысленность красоты, это отсутствие внутренней связи красоты с добром есть в то же время “таинственная” вещь, ибо тут “дьявол с Богом борется, а поле битвы—сердце человека”. Борьба идет под прикрытием красоты. Уж поистине можно сказать: не красота спасет мир, но красоту в мире нужно спасать.

Мысли Достоевского чрезвычайно присуща диалектическая сила — он вскрывает антиномичность там, где другие успокаиваются на незаконном расширении какого-либо одностороннего предположения. Лишь уяснив антиномии, заключенные в реальности, даже заострив их, он подымается над ними. И везде этой высшей сферой, где “примиряются” противоречия, является “горняя сфера”, область религии. Это постоянное восхождение к религиозным высотам и делает Достоевского вдохновителем русской религиозной философии в дальнейших поколениях (Бердяев, Булгаков и др.). Но у самого Достоевского его религиозные искания достигают наибольшей остроты в его историософии.

Мы уже приводили цитату из “Бесов” о “тайне истории”, о том, что народы движутся силой “эстетической” или “нравственной”, что в

последнем счете это есть "искание Бога". Каждый народ жив именно этим "исканием Бога" (притом "своего" Бога). "Почвенничество" у Достоевского есть, конечно, своеобразная форма народничества, но еще более оно связано с идеями Гердера, Шеллинга (в их русской интерпретации), о том, что каждый народ имеет свою особую "историческую миссию". Тайна этой миссии сокрыта в глубинах народного духа, - отсюда тот мотив "самобытности", который так настойчиво проводился так наз. "молодой редакцией" журнала "Москвитянин" и который был близок Достоевскому через Ап. Григорьева. Но почвенничество у Достоевского, как справедливо подчеркнул Бердяев, гораздо глубже - оно не пленено эмпирической историей, но идет дальше - в глубь народного духа.

Для России предопределена особая задача в истории, — в это верили уже славянофилы и Герцен, в это верил и Достоевский, — и высшей точкой в развитии его мыслей о России была его знаменитая "Пушкинская речь". Но и через все произведения Достоевского проходит идея всеохватывающего синтеза западного и русского духа, идея о том, что "у нас, русских, две родины - Европа и наша Русь". Это не исключало того, что Европа была для Достоевского, говоря словами Ивана Карамазова, лишь "дорогим кладбищем", что критика Европы занимает очень большое место всюду у Достоевского - достаточно, напр., вспомнить слова Версилова на эту тему. Россия же сильна своим Православием, - отсюда историософские темы у Достоевского сразу поднимаются до религиозного понимания истории. Особенно много и глубоко на эти темы писал Достоевский в своем "Дневнике Писателя", - но вершиной его историософских размышлений бесспорно является "Легенда о Великом Инквизиторе". Это есть исключительный опыт вскрытия проблематики истории с христианской точки зрения. Если русская историософия начинается с Герцена, обнаруживает вообще большую склонность к алогизму, то в то же время она признает, - как это ярче других выразил Михайловский - что смысл вносится в историю лишь человеком. Не только Гегелевский панлогизм, но и христианский провиденциализм отбрасываются здесь категорически.

У Достоевского русская историософская мысль возвращается к религиозному пониманию истории, но так, что свобода человека является, по божественному замыслу, как раз основой исторической диалектики. Внесение человеческого смысла в историю представлено в грандиозном замысле Великого Инквизитора; Достоевский здесь с особенной остротой подчеркивает то, что гармонизация исторического процесса непременно включает в себя подавление человеческой свободы, - и это он считает глубочайше связанным со всяким историософскими рационализмом. Неприемлемость такого подхода к человеку, глубокая защита христианского благовестия о свободе не

бросают Достоевского в объятия христианского иррационализма. Для него выход (как и для Влад. Соловьева) заключался в свободном движении народов к "оцерковлению" всего земного порядка.

Гессен справедливо критикует эту схему Достоевского, как форму утопизма, но особенность Достоевского (в отличие от историософии марксизма, а отчасти и социологического детерминизма заключается в том, что в его утопии нет ссылки на то, что идеал по исторической необходимости осуществится в истории. Наоборот, Достоевский очень глубоко и остро вскрывает диалектику идеи свободы; фигуры Ставрогина, Кириллова зловеще освещают эту диалектику. Утопизм у Достоевского сохраняется не в элементах философского рационализма (как в указанных построениях), а в том, что он не считается с проблемой искупления; его концепция "спасения", как мы не раз подчеркивали, проходит мимо тайны Голгофы. Тем не менее, грандиозная и величавая картина, которую набрасывает Великий Инквизитор, является непревзойденной доньше по глубине попыткой понять "тайну истории". Правда, насколько силен Достоевский в критике "католической идеи", всяческого историософского рационализма, настолько же расплывчаты его указания на положительные пути "православной культуры", но надо признать, что "метафизика истории" освещена Достоевским с такой гениальной силой, как ни у кого другого.

Подведем итоги анализу идей Достоевского.

Философское творчество Достоевского, в его наиболее глубоких вдохновениях, касалось лишь "философии духа", но зато в этой области оно достигало чисто исключительной значительности. Антропология, этика, историософия. проблема теодицеи - все это трактуется Достоевским остро и глубоко. Для русской (только ли для русской?) мысли Достоевский дал чрезвычайно много - недаром последующие поколения мыслителей в огромном большинстве своем связывали свое творчество с Достоевским. Но особое значение имеет то, что Достоевский с такой силой поставил проблему культуры внутри самого религиозного сознания. То пророческое ожидание "православной культуры", которое зародилось впервые у Гоголя и которое намечало действительно новые пути исторического действия, впервые у Достоевского становится центральной темой исканий и построений. Секуляризм, еще у славянофилов понятый как неизбежный (диалектически) исход религиозного процесса на Западе, у Достоевского окончательно превращается в вечную установку человеческого духа в его односторонностях, в одну из религиозных установок. Раскольников воплощает радикальный отрыв человеческого

духа от религиозного сознания, а Кириллов раскрывает неизбежность религиозного истолкования этого отрыва от Бога в идеологии человекобожества.

То, что издавна в западной философии превращало секуляризм в религиозный имманентизм, в героях Достоевского становится из идеи реальностью, но реальностью, диалектически неотрываемую от религиозного начала. Это возвращение мысли от отвлеченного радикализма к исконному религиозному ее лону не подавляет, не устраняет ни одной глубокой проблемы человеческого духа, но только вставляет всю проблематику в ее основную исходную базу. В Достоевском открывается, в сущности, новый период в истории русской мысли; хотя вся значительность и фундаментальность религиозной установки все время утверждались русскими мыслителями, но только у Достоевского все проблемы человеческого духа становятся проблемами религиозного порядка. Конечно, это сразу же и осложняет религиозную установку и грозит возможностью отрыва от классических формулировок, идущих от св. Отцов, но это же оказывается и основой чрезвычайного и плодотворнейшего расцвета в дальнейшем русской религиозно-философской мысли.